

ПОЭТИКА ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ЛИНГВИСТИКА

Сборник к 70-летию
Вячеслава Всеволодовича Иванова

РЕДКОЛЛЕГИЯ

*А. А. Вигасин, Р. Вроон, М. Л. Гаспаров, А. А. Зализняк,
Т. М. Николаева, А. Л. Ошоват, В. Н. Топоров,
Л. С. Флейшман*



ОГИ Москва 1999

ЛИНГВИСТИКА, ДИСКУРС О ЯЗЫКЕ И РУССКОЕ ГЕОАНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

П. Серво

Lausanne

*Умом Россию понять можно*¹

Подобно другим культурам, русская культура не представляет собой закрытого, органического и гармоничного целого. Ее — так же, как и другие культуры — во многом образует напряжение, существующее между разными (а зачастую и антагонистическими) дискурсами², определяющимися в гораздо большей степени *духом времени*, чем *духом места*. Было бы ошибкой считать русскую культуру совершенно чуждой западной, «инопланетной»: она, по сути своей, не отличается от других, а следовательно, может быть с ними сравниваема. Разумеется, сказанное вовсе не означает, что она идентична и тождественна другим культурам. Тем, кто изучает русскую культуру, надлежит учиться выделять ее характернейшие, наиболее существенные черты, а не относиться к ней как к чему-то смутному и неуловимому: умом Россию понять можно, стоит лишь поставить перед собой эту задачу. Бесконечные же повторения тютчевского четверостишия — не более чем отказ от серьезной интеллектуальной работы, без которой немыслимо никакое истинное познание.

Один из принципов познания — «бритва Оккама»: *entia non sunt multiplicanda sine necessitate*. В диалоге между Западной Европой и Россией нам представляется важным понимание того, что культура не является ни непосредственным объектом, ни категорией, существующей а priori. Она образована нестабильным, постоянно изменяющимся множеством самых разнообразных представлений, выражаемых, в частности, в *дискурсах* — пусть и с некоторой долей искажения.

Однако так же, как и в прошлом веке, очень многие в современной России — от простых граждан до эрудитов-интеллектуалов — отрицают, в эксплицитной или имплицитной формах, саму возможность сравнения русской культуры с прочими. К примеру, в том множестве текстов, которые представляясь на первый взгляд очень сложным и запутанным целым, и составляют «русскую культуру», можно легко выделить без конца обсуждаемую тему о месте, занимаемом Россией по отношению к славянскому миру и Европе вооб-

ше. Одной из особенностей «русской культуры», на протяжении вот уже трех столетий, можно считать именно дискуссии о самой *сущности* России, эти постоянные попытки определения того места — как в географическом, так и в символическом понимании этого слова — которое занимает Россия по отношению к своим соседям.

Этот *поиск, стремление к самоотождествлению* — попытки определения *сущности* России и ее места — многократно обсуждались историками литературы, философии и политических наук. В то же время, как нам представляется, существенная часть данной области русской культуры до сих пор еще не становилась предметом специальных исследований — речь идет о *дискурсе о языке*³.

Во второй половине девятнадцатого — первой трети двадцатого веков был достигнут определенный консенсус в различении трех этапов в этом поиске определения *сущности и места* России. Правда, уже сами по себе названия их могут быть предметом долгих обсуждений: славянофильство, панславизм и евразийство. Обычно эти три периода изучаются и описываются в их теоретическом, идеологическом и политическом аспектах. В то же время, постановка проблемы изучения их в терминах *топологии* затрагивалась гораздо реже: речь идет о практически постоянных, непрекращающихся дискуссиях о *пределах и границах* между внутренним и внешним, о напряжении, существующем между *целым и частями* — все эти темы делают расплывчатыми и непрочными самые объекты, которыми оперирует дискурс.

Здесь неизбежно возникают классические вопросы о принадлежности — когда основные положения прежних дискурсов опровергаются, замещаясь новыми: «подлинные границы» славянского мира якобы вовсе не являются теми, которыми их представляют обычно, границы России и «Европы» проходят в другом месте, более «настоящем» и «естественном», чем границы государственных и т. д.

Избегая слишком поспешных обобщений, мы остановимся здесь на проблеме *лингвистической аргументации*, тех *аргументов*, к которым прибегали в этих напряженных «таксономических» дискуссиях о сущности и месте России. Затем вниманию читателя будут предложены сконструированные именно на базе лингвистических аргументов графические модели результатов, к которым приходили в дискурсах о разделении и границах между языками и народами. Можно будет показать, таким образом, что дискурс о месте и сущности России и русской культуры, будучи динамическим процессом, становится ценным аргументом в пользу положения о том, что эта «сущность», как таковая, не существует сама по себе — или, по крайней мере, не может служить отправной точкой для рассуждений и дискуссий. Напротив, она конструируется в самом дискурсе, являясь не более чем неким воображаемым объектом (слово «воображаемый», конечно, следует понимать здесь не в значении «ложный», — но в значении «относящийся к образам, к представлениям»).

Чтобы показать, что речь пойдет не о реальных объектах, но о представлениях, подчеркнем еще раз, что отправной точкой в настоящей работе будут

именно дискурсы, понимаемые не как «объективные» отражения того, о чем в них идет речь, но как динамическая деятельность, конструирующая смысл: воображаемое получает, таким образом, совершенно реальное, материальное воплощение. Так, несложно будет показать, что некоторые основные, в данном случае, понятия — такие, к примеру, как «восток» и «запад» — вовсе не отсылают к терминам географии, но могут наполняться, в дискурсе о сущности и месте России, огромным идеологическим и символическим содержанием.

Представления эти не являются ни «картами», ни «зеркалами», отражающими мир, но — объектами вторичными, конструируемыми в дискурсах и их посредством. Сравнение же разных концепций позволит нам проследить не только динамику, но и общее направление развития рассуждений и идей, которое не всегда легко увидеть и вычлнить в практически не прекращающемся потоке публикаций, связанных с дискуссиями о сущности России и ее культуре.

Всех тех авторов, о которых пойдет речь в настоящей работе, объединяет видение антагонизма между востоком и западом. Однако понимание целого и его частей в их отношениях между собой, способы разделения и отделения их друг от друга, понимание и интерпретация положения России по отношению к славянскому миру и соответствующее начертание границ — все это оказывается в их концепциях совершенно различным.

Мы попытаемся показать, что в освещаемую эпоху все дискуссии и рассуждения о самобытности и сущности России велись исключительно в терминах натуралистической классификации: они оперировали воображаемыми объектами, представляемыми как объекты первичные, реально существующие, то есть как объекты, существование которых предшествует самому дискурсу.

И. А. Ф. Гильфердинг: два мира (Россия — в Восточной Европе)

А. Ф. Гильфердинг (1831–1872) — историк, этнограф и фольклорист⁴, эссеист и лингвист. Сын саксонского дипломата-католика, служившего в Варшаве, он становится, во время изучения славистики в Москве, горячим славянофилом, постоянно посещающим кружок И. Аксакова и Ю. Самарина. В своих работах Гильфердинг распространял славянофильскую идею о радикальном различии, существующем между славянами и западной Европой. Теория эта была основана на результатах его этнографических занятий: практически повсюду он искал и находил доказательства непримиримой оппозиции, антагонизма между славянскими и германскими «стихиями». Кроме того, Гильфердинг стремился показать, что православная религия была единственно приемлемой для всего славянского мира.

В 22 года он защищает магистерскую диссертацию «Об отношении языка славянского к языкам родственным» (Москва, 1853). Эта работа Гильфердинга заслуживает внимательного прочтения: в ней, едва ли не впервые вообще, в рассуждениях о культурной самобытности России и ее отношениях с Евро-

пой используются лингвистические аргументы (названные «сравнительной филологией»). Конечно, здесь можно найти и классический славянофильский тезис о принципиальном различии, существующем между Россией (полностью отождествляемой со славянским миром) и Западом. Новым же, по сравнению с работами славянофилов, в диссертации Гильфердинга было положение о том, что Россия, по своему языку, близка к «южной Азии» — к миру санскрита⁵.

Русский язык, для Гильфердинга, — это язык славянский, а славянские языки (как единое целое) противопоставляются языкам Западной Европы. Более того, «славянский» язык признается им гораздо более близким к санскриту, чем к языкам «западноевропейским».

Опираясь категорией «близости» (в смысле сходства), Гильфердинг никогда не выходит за рамки чисто «генетических» рассуждений: существование индоевропейской семьи языков ни в коей мере не ставится им под сомнение, как и существование индоевропейского праязыка. В этом он ничем не отличается от своих немецких коллег-современников. Согласно его теории, существует генетическое единство и тождество всех индоевропейских языков (и, следовательно, всех индоевропейских народов):

«Все европейские языки и народы составляют с двумя главными племенами Азии, индийцами и персами, одну великую семью. [...] Славяне, Литва, немцы, греки, италийцы и кельты говорили некогда одним языком и были родными братьями. [...] Они из Азии, где жили вместе, перешли в Европу и здесь разошлись, каждый по своей дороге» (с. 2–3).

Однако целью исследований Гильфердинга становится не изучение истории фонетических законов в индоевропейской семье языков: он стремится работать в рамках таксономии, пытаясь найти и определить *истинное место* «славянского языка» среди других индоевропейских языков, его положение на генеалогическом древе. За вопросом об истории индоевропейских языков для ученого скрывается поиск их реального места в классификации: именно фактор времени, само время должно было помочь здесь «разобраться» с пространством, а не наоборот, как это было в трудах западных лингвистов той эпохи. Сам Гильфердинг считал себя работающим в рамках долгой традиции исторической и сравнительной грамматики, однако важным в его работах оказывается именно этот последний, компаративный, сравнительный аспект: определив положение языка на генеалогическом древе, можно было начинать дискуссии о самобытности, ключевые слова которых — «язык» и «народ» — оказывались взаимозаменяемыми.

Согласно оценке Гильфердинга, современная ему сравнительная филология имела еще множество недостатков. Один из них — отсутствие общих заключений и фрагментарный характер этой науки, отличающий ее от других дисциплин, в то время как в идеале место сравнительной филологии — в одном ряду с мировой историей. Очарованный, как и первые немецкие ком-

паративисты (братья Шлегели, например), востоком, работающий в рамках органических метафор, восхищенный «открытием» англичанина У. Джоунза (доказавшего в 1784 году *родство* санскрита с античными европейскими языками), Гильфердинг в то же время считал, что научные исследования каждой нации, каждого народа неизбежно несут в себе некий отпечаток принадлежности этой нации, отражение ее характера. Так, немецкие ученые, проанализировав доступный им языковой материал в мельчайших деталях, сумели доказать родство европейских языков между собой и связи их с языками современной Азии. Однако, согласно Гильфердингу, они не смогли «оторваться» от материала своих исследований, «подняться» над ним, прийти к заключениям более общего характера⁶, в то время как рассмотренные ими детали и подробности, сами по себе, «не говорят ничего существенного» (с. 8). В общем, Гильфердинг упрекал немецких ученых в том, что современные ему исследователи-филологи продолжали использовать в своей работе устаревшие аналитические методы Ф. Боппа. Внимательно изучая факты отдельных языков, они, в то же время, не спешили делать выводы более общего характера (с. 11).

Ученый предложил различать фонетические изменения, называемые им «органическими» — они определяют «индивидуальность», присущую каждому языку, — и те, которые оказываются «случайными», встречаясь только в особых случаях. Основываясь «скорее на прихоти выговора, чем на постоянном законе языка», последние являются общими для всех языков, не оказываясь, в то же время, специфичными ни для одного из них (с. 13). Установив это различие, можно было расклассифицировать индоевропейские языки, разделить их на те, которые отличаются от санскрита «органическими изменениями звуков», и все прочие, которые «не имеют таких особенностей» (с. 14). Это «новое видение» влекло за собой разделение индоевропейской семьи на две группы, или «половины» (с. 35): «восточные» и «западные» языки⁷.

Это противопоставление, заданное в терминах пространства, еще более усиливалось оппозицией исторического или, скорее, *генеалогического* порядка. В самом деле, латынь, готский, древнегреческий, древнекельтский, фракийский (предок албанского, по Гильфердингу) и авестийский⁸ — языки родственные, отличающиеся как от санскрита, так и между собой, регулярными фонетическими расхождениями. Все они являются *языками мертвыми*, исчезнувшими, сохранившимися лишь «в наречиях второобразных, искаженных временем и чужою примесью» (с. 33). Те языки, на которых говорят сегодня в Европе (романские, германские, кельтские, новогреческий и албанский — к ним необходимо добавить и персидский, азиатский язык, который, как и европейские, «вышел» из языка второго поколения, авестийского), принадлежат, таким образом, к третьему поколению. В отличие от санскрита и прочих древних языков, все они произошли «в историческое время» (с. 34) из других языков. Поэтому, например, слово из современного немецкого языка нельзя *прямо и непосредственно* соотносить с санскритским или сла-

вянским словом: сначала его нужно возвести к соответствующему корню в древнегерманском — и уже через посредство древнегерманского сравнивать современные германские языки с языками другого поколения. Итак, важной особенностью «западных» языков, по Гильфердингу, — он в очередной раз прибегает здесь к биологической метафоре «поколений» — оказывается временная цезура, разрыв, характеризующий их существование в эволюционном континууме.

Картина же «восточных» индоевропейских языков представляется совершенно иной. Они обладают замечательной особенностью: их можно сравнивать непосредственно со всеми древними языками. Формирование «восточных» языков не относится к историческому времени. Это — *коренные, первичные языки*, восходящие непосредственно к праисторическому языку, на котором говорило все индоевропейское племя еще во время своего обитания в Азии. Конечно, литовский, как и «славянский», имеет свои диалекты, однако этот факт не следует принимать во внимание: *«разделение языка на наречия и образование нового языка из старого, отжившего, дело совершенно разное»* (с. 36). Временному разрыву, разделяющему на два поколения языки «западные», Гильфердинг противопоставляет неизменность и непрерывную последовательность в развитии языков «восточных».

Совершенно очевидно, что «славянский» язык, для Гильфердинга, — это единая лингвистическая *целостность*, один язык. Польский же, болгарский, русский языки и т. д. являются по отношению к нему лишь *вариантами*, или *наречиями*, одним словом, *частями* единого *целого* — чему, впрочем, не дается никаких доказательств. В то же время, «ново-латинские» языки (французский, итальянский, испанский) Гильфердинг считает не только разными языками, но и, к тому же, вышедшими из языка-предка второго поколения — латыни. Таким образом, *единое* и *различное* определяются им произвольно — и это несмотря на всю кажущуюся строгость научной аргументации ученого. Единственным аргументом в пользу эволюционной непрерывности и строгой последовательности в развитии, присущей «славянскому языку», оказывается возможность понимания его носителями древних текстов:

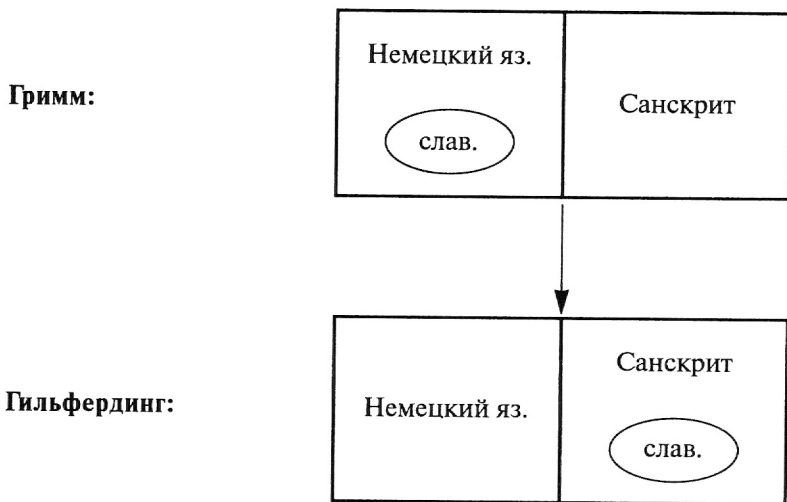
«...до распада на отдельные народы, все славянское племя имело один общий язык, но этот язык не разрушался и из развалин его не воссоздавался другой язык, как французский, или испанский из латинского, английский из англо-саксонского, и он не переходил, как все ветви германские, через разные перевероты звуков и разные наречия, сменявшие друг друга (например, древне-верхненемецкий, средне-верхненемецкий, ново-верхненемецкий; древне-нижненемецкий, средне-нижненемецкий, ново-нидерландский и т. п.), а тот же самый язык все еще звучит, неизмеримый и живой, по лицу земли славянской; он только изменился в некоторых формах своих, и то мало: всякий русский, всякий чех поймет древнейшие свои памятники; а что скажет не изучавший филологии немец, если ему дать в руки Улфилин перевод Евангелия, или древнюю песнь о Гильдебранде?» (с. 36–37).

Однако существенным в противопоставлении востока западу оказывается даже не столько принадлежность соответствующих языков к разным поколениям, сколько тот факт, что «западные» языки отличаются от санскрита «*постоянными, органическими изменениями звуков*», тогда как языки «восточные» таких различий с ним не имеют. Напротив, «*все те законы, которыми они разнятся от языков западных, составляют также особенность санскритской речи*» (с. 38). Среди выделяемых пяти основных фонетических особенностей, сближающих литовский и «славянский» с санскритом и, в то же время, противопоставляющих их языкам запада, одна представляется нам особенно интересной: она предвосхищает критерий, который будет впоследствии использовать Р. Якобсон, говоря о специфичности языков Евразии — речь идет о *мягкости согласных*. Неважно, что Гильфердинг не различает феномены палатализации и мягкости — определяемой им как «*соединение полугласной j с предшествующей согласной, которая с ней сливается в один новый звук*» (с. 52). Существенно то, что ученый отмечает отсутствие этого феномена в языках «западных» — и, в то же время, присутствие его (в той или иной степени) в трех языках «восточных» (санскрит, литовский и «славянский»). Следовательно, по Гильфердингу, сам феномен мягкости согласных может свидетельствовать о «*тождестве звукового устройства у восточных ветвей индоевропейского племени*» (с. 54). Поэтому он отвергает положение Гримма о близком родстве между немецким, литовским и славянским языками. Разделяя то, что до него считалось единым и нераздельным, Гильфердинг настаивает на различии, предвосхищающем то, которое введет впоследствии Н. С. Трубецкой, говоря о сходствах наследуемых и приобретаемых⁹, правда, придавая этому противоположную аксиологическую направленность. Действительно, Гильфердинг различает сходство приобретенное, которым он называет *историческое родство*, возникшее между немецким, литовским и «славянским» вследствие их тысячелетнего пребывания в Европе, многолетнего единства и обмена словами и идеями, — и первоначальную, органическую *структуру* языков. Здесь уже «славянский» и литовский языки оказываются гораздо более тесно связаны с санскритом, чем с немецким (с. 54). Идея сходств, приобретаемых не только через непосредственные контакты, но и через общие, одинаковые условия жизни, предвосхищает понятие «месторазвитие» у евразийцев:

«Многовековая жизнь племен германского, литовского и славянского в Европе, под одинаковыми условиями европейской почвы, европейской деятельности, европейской мысли, придала этим языкам какой-то общий, европейский склад, тогда как азиатские ветви той же семьи, развиваясь под своими условиями жизни, получили, со своей стороны, особенную физиономию» (с. 55).

Итак, данная натуралистическая модель противопоставляет сходства, приобретенные через контакты (сходства низшего порядка, «внешние», не являющиеся репрезентативными), тем, которые наследуются и, таким образом,

являются «органическими» (сходства более высокого порядка, «внутренние», существенные для понимания *истинного тождества*). Лишь последние, по Гильфердингу, могут служить аргументами в рассуждениях о предполагаемом *изменении границ*: в рамках оппозиции восток/запад, «славянский» язык, несмотря на приобретенное им сходство с немецким и в силу своего органического родства с санскритом, смещается на восток:



Индивидуальное и коллективное

Однако важным для Гильфердинга оказывается не только «*общее звуковое устройство*», существующее между «*восточными языками*» (с. 56): линия, разделяющая восток и запад, маркирует и другой разрыв, представление о котором в целом свойственно славянофильскому видению мира. Речь идет о линии раздела между *принципом коллективным, общинным* — и *принципом индивидуалистическим*. Действительно, утверждение Гильфердинга о близком родстве, существующем между санскритом, «славянским» и литовским языками, основано на постулировании их праисторического единства и длительной общности жизни. Конечно, основные их элементы были теми же, что и в других частях индоевропейской семьи, однако эти языки развивались вместе и оставались в *первобытном единстве* на протяжении гораздо более длительного отрезка времени, а потому могли сформировать общие «тенденции» и общий характер. «Западные» же языки, напротив, стали автономными гораздо раньше, заимствовав из древней общности элементы значительно «менее определенные»: каждый из них, на своей почве, развил свои особые тенденции (с. 57). В очередной раз, типологические рассуждения основываются здесь на аргументах генеалогического характера: если «западные» языки второго поколения (латынь, кельтский, древнегерманский и т. д.) сегодня мертвы, то это

потому, что они отделились от первобытной языковой общности в довольно ранний период, еще до своего полного расцвета. Следовательно, разрабатывать свои оригинальные элементы им пришлось самостоятельно — чем они, в конце концов, и истожили себя. Долголетие же «славянского» и литовского языков, напротив, объясняется их поздним отделением от праисторического единства и богатством того звукового наследия, которое они вынесли из Азии и которое им уже не надо было ничем дополнять. По Гильфердингу, существует очевидное *соответствие* между различиями, органически присущими «восточным» и «западным» языкам, с одной стороны, — и «историческим характером» народов, которые на них говорят, с другой. Так, если на Западе имела место ранняя дифференциация языков, если в каждом из последних наблюдаются совершенно особые фонетические закономерности, то все это можно считать выражением преимущества индивидуалистического принципа над общинным и коллективным, что, в свою очередь, способствовало быстрому развитию Западной Европы. На Востоке же, напротив, в «азиатской части Европы», образованной литовским и «славянским» языками, более позднее выделение языков из их первобытного единства и сохранение унаследованных из него звуков *соответствуют «медленнейшему ходу славянского племени»*, в котором коллективный, общинный принцип, очевидно, господствует над индивидуалистическим (с. 58–59).

Таким образом, в рассуждениях Гильфердинга о языках возникает противопоставление, которое впоследствии станет необычайно важным для гуманитарных наук вообще. Споры вокруг него не утихают и сегодня: речь идет об оппозиции *индивидуализм/хализм* (см. работы Л. Дюмона, в частности, Dumont, 1983).

Часть и целое

Как и многие другие интеллектуалы его эпохи, Гильфердинг увлекался понятиями *границ*, пределов объектов дискурса. Так, проанализировав общие черты «восточных» языков, противопоставляющие их языкам «западным», ученый задается следующим вопросом: если «восточные» языки настолько близки между собой (сходством своих фонетических особенностей, близостью корней), не являются ли они диалектами одного языка, частями единого Целого? Отвечая на этот вопрос отрицательно, Гильфердинг не приводит в подтверждение никаких аргументов:

«Нельзя же, чтобы они отличались друг от друга только какими-нибудь случайными изменениями звуков или употреблением того, либо другого слова. А то пришлось бы предположить, что языки санскритский, литовский и славянский, собственно говоря, не отдельные языки, а не более, как наречия одного языка, что, конечно, никак не может быть допущено» (с. 77).

Если в фонетических системах трех «восточных» языков (санскрит, литовский и «славянский») Гильфердинг отмечает «семейные» сходства (напомним,

что он обращал особое внимание на феномен мягкости согласных), то, напротив, в их грамматических системах, согласно его теории, проявляются свойственные этим языкам «особенности»: прежде всего, «в наиболее живой и подвижной части речи — глаголе» (с. 83). Рассуждения о психологии народов, о которой говорили в рамках славянофильской идеологии, были свойственны эпохе Гильфердинга в целом. Он же полагал, что славянские существительные отличаются от литовских и санскритских «внешними» признаками (потеря или смягчение некоторых звуков, использование разных суффиксов и т. д.), тогда как для глаголов различия были «внутренними»:

«Действительно, так как глагол есть по преимуществу живая, духовная часть человеческого слова, то он наиболее способен, в разнообразии форм своих, выразить личность каждого народа и его самобытное воззрение. Поэтому главные особенности глаголов в различных языках проистекают не от внешних звуковых законов, а от того, с какой точки народ смотрит на действие и по каким категориям [...] он его определяет» (с. 97).

И хотя временные формы «славянского» языка «скудны и просты» (с. 102), он обладает богатством, неизвестным другим языкам: глагольным видом. Таким образом, за несколько лет до появления соответствующих известных работ славянофилов¹⁰ (Аксаков, 1855; Некрасов, 1865), Гильфердинг начинает рассуждения о *неповторимом своеобразии и самобытности* русского языка (и «славянского» в целом), которые связаны с «нестабильным» характером категории времени у русского глагола, по сравнению с категорией *вида*.

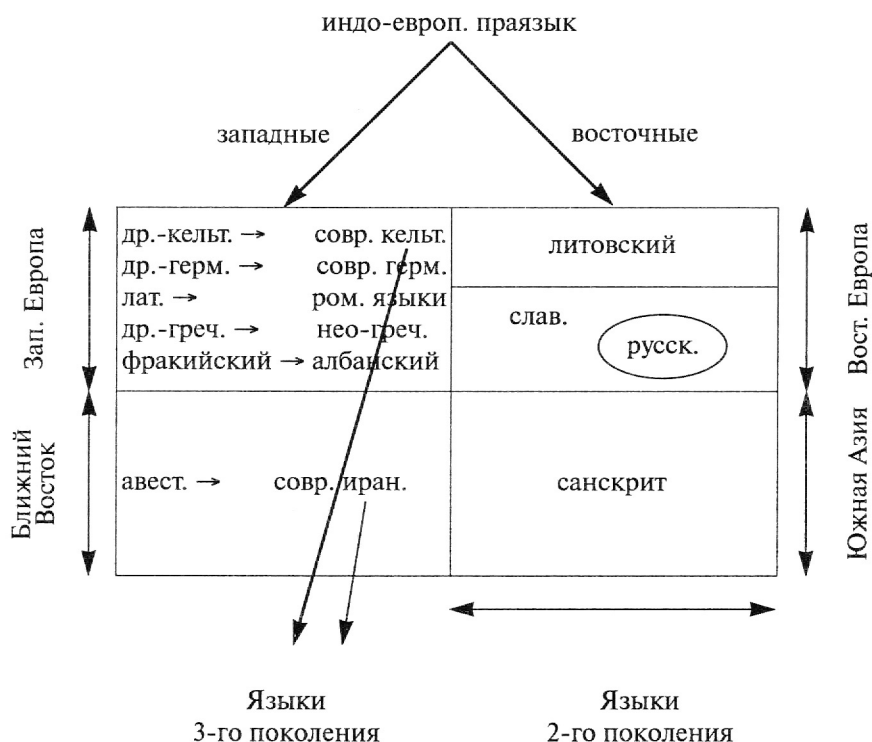
В заключение своей диссертации Гильфердинг пишет о том, что представлялось ему его собственным, личным вкладом в науку: изучая языковую семью, в то время еще не очень хорошо известную лингвистам («славянский» и литовский языки), он стремился *связать* результаты исследований сравнительной филологии и других областей культуры. Целью его работы было показать разделение индоевропейской семьи языков на две части, западную и восточную. Так, если «восточные» языки связаны общими фонетическими изменениями, то языки Запада отличаются особым характером развития своих звуковых систем. Более того, отделившись от первобытного единства, «западные» языки приобрели совершенно особенный внешний (звуковой) облик, тогда как основные тенденции в развитии «восточных» языков сконцентрировались на «внутреннем» определении действия, то есть на глаголе.

Это разделение Европы на две части, по Гильфердингу, ни в коем случае не случайно: оно маркирует и *соответствия* между границами разных уровней, что говорит о видении истинной гармонии мира, где все взаимосвязано:

«Не случайное дело, что вся Европа разделена на две половины, что в западной живут многие народы и государства, а восточная принадлежит одному племени, славянскому, и одному государству, русскому; что в западной развивалась одна общая историческая жизнь, а в восточной другая; что самое даже Христианство было иначе понято западной Европой, иначе восточной. Это существенное различие между восточной, славянскою (а теперь, с тех

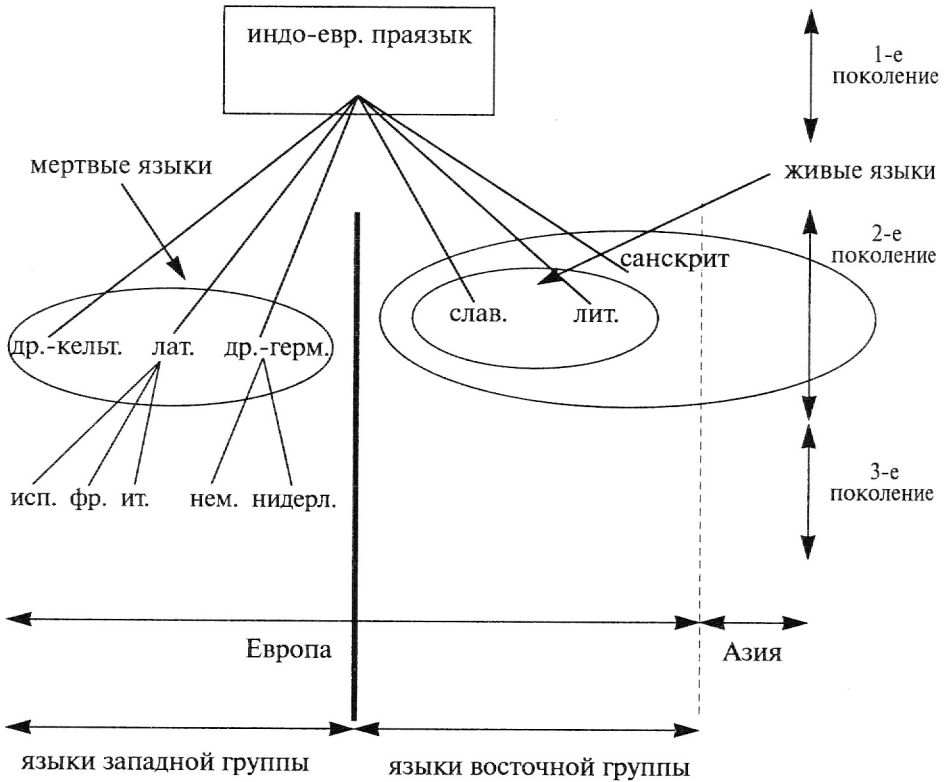
пор, как западные славянские отрасли подчинились германскому и римскому влиянию), — русскою Европою с одной стороны, и всеми западными народами с другой, простиело, конечно, из внутренней склонности, которая на всех путях развития удаляла их друг от друга. Оно, без сомнения, коренилось глубоко и с самого начала в их природе и мысли: а в языке не является ли наружу то, что лежит в глубине человеческой мысли?» (с. 125–126).

В основе этой ранней работы Гильфердинга, его очень сложных теоретических построений, лежит холистический принцип и использование органических метафор. В рамках нашего исследования мы попытаемся сделать то, что сам ученый, скорее всего, рассматривал бы как совершенно не допустимое посягательство именно на эти принципы: дать графическое представление его видению «славянского» языка среди прочих индоевропейских языков. Следующие две схемы иллюстрируют взаимосвязь временного и пространственного аспектов в этом вопросе.



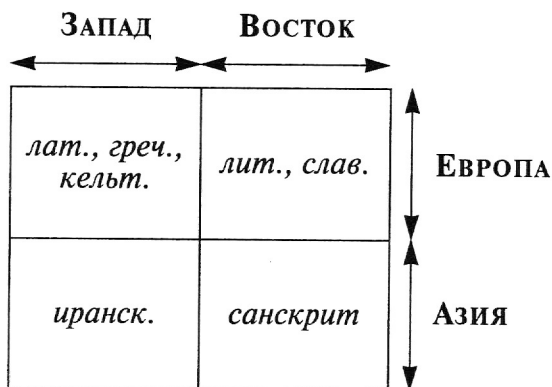
Эта первая схема показывает существование континуума, последовательности в генеалогическом сходстве между языками Западной Европы и Малой Азии, с одной стороны, и языками Восточной Европы и Южной Азии, с другой, — и это несмотря на территориальные разрывы.

Вторая схема позволяет говорить о тесной взаимосвязи и взаимопроникновении пространственных и временных категорий в рамках того, что можно было бы назвать «географической биологией»:



Если в основе своей теория Гильфердинга построена на чисто «генеалогических» представлениях, то отдельные положения его работы (рассуждения о древнеперсидском и авестийском языках) свидетельствуют о том, что внимание ученого порой сосредотачивалось не только на временных, но и на пространственных категориях. Об этом говорят и те трудности, с которыми мы неизбежно сталкиваемся, пытаясь передать текст Гильфердинга графической схемой. Действительно, для того, чтобы определить место авестийского, а затем и современного иранского языков — которые, будучи географически связаны с Азией, принадлежат к «западной» группе, — нужно построить схему, отказываясь от иллюстрации генеалогической непрерывности и принимая в расчет лишь синхронное измерение. Эволюция языков во времени, таким образом, «уплощается», и на одном уровне оказываются языки, которые, являясь современниками, принадлежат к разным «поколениям». Следующая схема иллюстрирует воображаемое географическое пространство Гильфердинга:

Восток в ней может находиться в Европе, а Запад — в Азии. Основными точками отсчета, которым подчиняются все прочие, становятся здесь координаты *типологические*:



Как мы видим, «идеологическое» противопоставление «запад/восток» не совпадает здесь с географической оппозицией «Европа/Азия».

II. В. И. ЛАМАНСКИЙ: ТРИ МИРА (РОССИЯ — В «СРЕДНЕМ МИРЕ»)

Многое из того, что было характерно для проанализированной выше ранней работы Гильфердинга, перейдет, спустя сорок лет, и в труды его современника Ламанского, прожившего гораздо более долгую жизнь¹¹. Правда, в работах последнего становится еще более очевидным сдвиг от «генеалогического», по преимуществу, видения мира к суждениям, все более оперирующим категориями пространства.

В. И. Ламанский (1833–1914) — так же, как и Гильфердинг, лингвист и этнограф, славянофил и панславист, — использовал свои познания в славянской филологии для построения особой концепции, связанной с гео-антропологическим видением России. В какой-то степени Ламанского можно считать предтечей или даже вдохновителем проблематики язык/пространство, впоследствии поднятой в трудах Н. Трубецкого и Р. Якобсона — речь идет о его космогоническом представлении мира.

Об изменении отношения к категориям пространства, его видению и прочтению, говорит уже само название книги Ламанского, вышедшей в 1892 году: «Три мира азийско-европейского материка». Традиционное географическое разделение Старого Света на европейскую и азиатскую части ученый считал не более чем иллюзией. Согласно его теории, внутри единой огромной целостности — евразийского континента — сосуществуют три отдельных мира, радикально отличающихся друг от друга. Решительно возражая против «немецкой» концепции, считавшей Европу отдельной и независимой частью света, Ламанский видел в ней лишь «азиатский полуостров». В то же время, он

считал континентальное пространство от Атлантического до Тихого океана единой целостностью, внутри которой «боролись» друг с другом три совершенно различные культуры.

Впервые слово «Евразия» употребил в своей работе 1885 года австрийский географ Эдуард Зюсс (Eduard Suess), обозначивший им континентальное единство Европы и Азии¹². Новизна же концепции Ламанского состояла в разделении им этой огромной целостности не на две части (Азия и Европа), но на три. С позиций географии эти три части являются «континентами», а с позиций истории культуры — радикально различающимися «мирами»: собственно Европа (мир «романо-германский», католическо-протестантский), собственно Азия (мир «не христианский») и Россия — «Средний Мир»,¹³ в смысле географическом (мир, расположенный на востоке Европы и на севере Азии), и мир «греко-славянский» (православный), в смысле культурном. Таким образом, политическое государство Российская Империя, в концепции Ламанского, представлялось автономным «географическим миром», противопоставленным двум другим по своим природным характеристикам: на огромной центральной равнине, ограниченной горными массивами, практически отсутствуют внутренние геоморфологические разделения. Впрочем, как и его предшественник Н. Я. Данилевский (1822—1885), Ламанский добавлял к «естественному», натуралистическому определению целостности Российской Империи измерение культурное: согласно его теории, заселение Сибири русскими было не колонизацией, но процессом *«естественным и органическим»*. Две части Империи, на западе и на востоке от Уральских гор, образовывали политическое и культурное единство, «скрепляемые» русской культурой, *«одной верой, одним языком, одной народностью»*¹⁴ (с. 14).

Представляя собой единое целое, состоящее из частей, Россия в то же время и сама является частью большей целостности — «греко-славянского мира», находящегося в оппозиции к «миру романо-германскому». Таким образом, в концепции Ламанского, Россия оказывается как совершенно отдельным миром, так и частью большего целого. Здесь уже обозначено то противоречие, которое особенно обострится к концу 19-го века: между видением Российской Империи как закрытой, совершенно отдельной от Европы гео-культурной целостности — и панславистской концепцией, представляющей Россию центром славянского целого, куда входили также Чехия и Сербия (то есть территории, доказать географическую, «естественную» принадлежность которых — в отличие от принадлежности культурной — к тому миру, куда входила и Россия, было труднее всего).

Написанный в 1892 году, труд Ламанского ставил целью показать существование совершенно «отдельного мира»: «Среднего Мира», отличающегося как от собственно Европы, так и от собственно Азии. И здесь Ламанский идет дальше Гильфердинга. Если для последнего славянский и литовский миры, без всяких сомнений, находились в Европе, то Ламанский не только Россию, но и все славянское единство включал не в Европу, но в «Средний Мир». Вот описание границы между Европой и «Средним Миром», приводимое ученым:

«Западная граница Среднего мира, отделяющая его от собственной Европы, есть сухопутная русско—норвежско—шведская граница, Ботнический и Финский заливы, далее ломанная пограничная линия, проходящая по прусским и австрийским землям, между Балтийским и Адриатическим морями. Она углубляется то далеко на запад в Германию, то приближается на восток к русским пределам и упирается на севере около Данцига в море Балтийское, а на юге около Триеста в море Адриатическое. Затем западную границу Среднего мира составляет Адриатическое и Ионийское море. Южная граница Среднего мира, подобно границе России, есть также море, только не Черное, а Средиземное, и также собственная Азия (т. е. Азиатская Турция). При этом следует заметить, что в отношении этнологическом и историко-культурном некоторые части Малой Азии и Сирии скорее должны быть относимы к миру Среднему, чем к миру собственно азиатскому» (с. 24).

В целом труд Ламанского свидетельствует о значительных сложностях построения таксономии с претензиями на натурализм: ученый пытается найти сразу несколько разных критериев и обоснований начертания границ в определенном месте (славянский/неславянский, православный/неправославный...), однако на практике результаты их применения не всегда совпадают друг с другом. Фактически «пограничная линия», связывающая Гданьск и Триест, включает в центральную, восточную и балканскую части Европы все то, что не является немецким: славянские страны, не являющиеся православными (Чехия, Польша), православные неславянские страны (Румыния, Греция) и, наконец, неславянские страны, не являющиеся православными (Венгрия). Впоследствии Ламанскому придется прибегнуть к очень сложным и запутанным рассуждениям о критериях включения разных языков и народностей в «Средний Мир». Именно здесь завязывается узел основного противоречия русского панславизма, пытавшегося представить славянский мир гомогенным, однородным в культурном отношении — как мир православный. Однако пространство культуры далеко не всегда совпадает с пространством географическим...

По сути, эта теория «трех миров» Ламанского оказывается теорией «двух миров»: Азия определяется им через отрицание, как мир не-христианский, отличающийся «равнодушием или нерасположением к христианству» (с. 41). Все азиатские государства, таким образом, «отбрасываются» им в «небытие», в «запредельное варварство», что позволяет ученому, для которого Восток представлялся чем-то сугубо враждебным, не объединять его со «Средним Миром».

Характерные обоснования противопоставления востока и запада можно найти уже в работах такого классика славянофильства, как И. Киреевский. Правда, если последний противопоставлял Западу только Россию, то Ламанский — весь славянский мир, включаемый им в целостность «греко-славянскую». Отсюда становится ясна и политическая панславистская программа Ламанского: объединить славянский мир вокруг русского языка и православной религии. Как это обычно бывает свойственно натуралистическим рассуждениям, здесь смешиваются представления о том, что «есть» — и о том, что «должно быть».

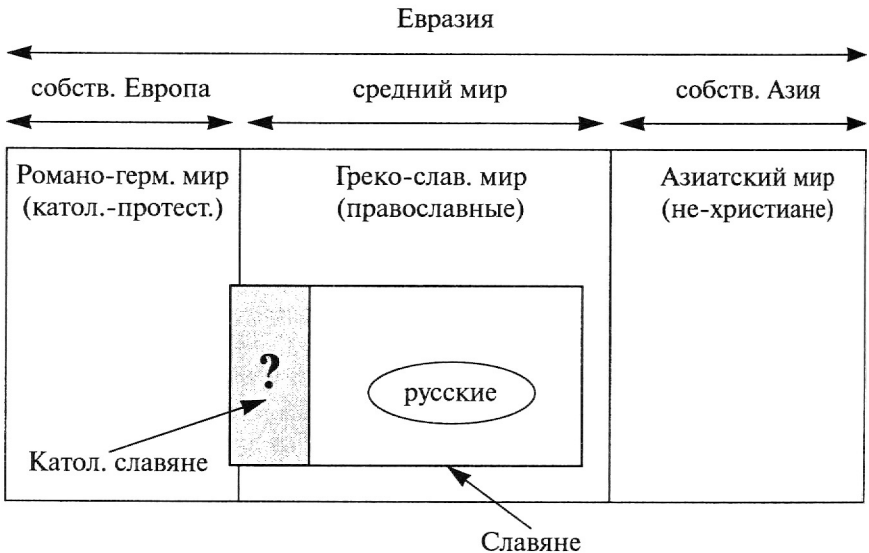
Славянский мир определялся Ламанским как единое целое, для представления которого, по-видимому, трудно было подобрать лучшее сравнение, чем сопоставление его с огромным «коллективным» телом. Поэтому в своей панславистской программе объединения или, скорее, воссоединения славян ученый описывает образ статуи, представляющей славянство, — образ, заимствованный им у словака Я. Коллара (1793—1852). Ламанский приводит его в своей книге (с. 95) без точного указания на оригинальный источник:

«Россию я бы вылил ей в голову, телом бы в ней были ляхи, плечами и руками Чехию, Сербию я бы разделил на две ноги. Меньшие ветви, словинцев, лужичан, хорватов, слезаков, словаков растопил бы я в одежду и оружие. Перед этим истуканом вся Европа могла бы пасть на колени, и сама выше облаков, одним шагом она поколебала бы землю».

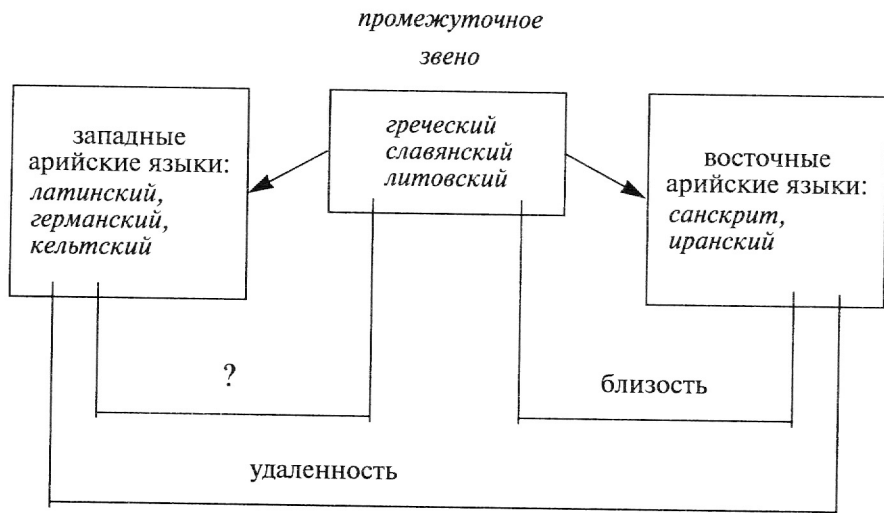
Это представление о «коллективном теле» как о единой и неделимой целостности, воплощении некоего «идеального Тела», материальность которого проявляется в языке, было типично для натуралистических рассуждений в целом. Совершенно очевидно, что, в рамках этой идеологии, разные славянские языки могли интерпретироваться лишь как варианты одного языка, «диалекты», «органы» единого «тела»...

Итак, единство славянского мира по-прежнему не ставится под сомнение. Правда, практическое применение разных критериев, лежащих в основе классификации «миров» Ламанского, нередко приводит к разным, а зачастую и противоречащим друг другу результатам — хотя ученый и полагал, что его критерии должны были, прежде всего, подкреплять друг друга.

1) «миры»



2) языки



Рассуждая об отношениях между языками, Ламанский, в целом, основывает свои суждения на географических представлениях (говоря о «близости» и «удаленности»):

«Есть еще иная, более глубокая и внутренняя связь славян и греков. Согласно их географическому положению языки греческий и славянский (с литовским) в родственной цепи индоевропейских языков представляют ближайший переход от языков восточно-арийских к западно-арийским. Насколько язык древнегреческий ближе латинского и других италийских языков к языкам древнеиндийскому и иранскому, настолько же язык славяно-литовский ближе к ним, чем языки кельтский и германский» (с. 49–50).

Как мы видим, «миры» Ламанского совпадают здесь с целостностями языковыми: Европу населяют народы, говорящие на романских и германских языках, а «Средний Мир» — греко-славянские народы.

III. ТРИ ИЛИ ДВА МИРА?

*(Отделение России от славянского мира
и разделение последнего на две части)*

Следующий этап «смещения» России на восток, в нескончаемом дискурсе о ее самобытности, сущности и месте, занимаемом по отношению к соседям, начинается уже после Октябрьской революции, в 1920–1930-е годы. Он связан с евразийской идеологией¹⁵, различавшей и противопоставлявшей друг другу, как и теория Ламанского, три целостности, три «мира» в Старом Свете: Европу, Азию и Евразию, расположенную на востоке Европы и на севере

Азии. Лингвистическими «протагонистами» были здесь Р. Якобсон и Н. Трубецкой. Как и другие евразийцы, они, вслед за Гильфердингом и Ламанским, разделяли идею необходимости замены существующих «искусственных» границ границами «естественными», «настоящими». В то же время, именно евразийцы первыми решились провести эти границы *внутри самого славянского мира*: в отличие от славянофилов, они не признавали никакой связи между Россией и западными славянами, католиками, усвоившими западный образ жизни. Опираясь в своих рассуждениях социальными, культурологическими и лингвистическими аргументами, евразийцы стремились, прежде всего, показать определенное сходство (*affinité*)¹⁶, существующее между территориями и населяющими их народами России, с одной стороны, и прилегающими к ним областями с их населением, с другой. Их лингвистические работы ставили целью показать необходимость разбиения целостностей лишь «видимых», «ненастоящих» (например, «славяне») для выявления целостностей и единств «реальных», «истинных» (например, «Евразия»). Подобно своим предшественникам, Якобсон и Трубецкой проводили границу между миром индивидуализма (Запад) и миром, в котором господствуют общинные, коллективные принципы (см. Sériot 1996a, p. 20).

Это стремление к обнаружению целостностей «истинных», «настоящих» уже само по себе ставит проблему скрещивания, гибридизации, необычайно существенную для данной эпохи. Однако Трубецкой предлагает здесь решение сложное и парадоксальное: согласно его теории, можно говорить как о конвергенции целостностей, никак не связанных генетически (взять хотя бы сходства между языками и народами, населяющими Евразию), так и о взаимной непроницаемости целостностей и единств (например, о закрытости Европы и Евразии друг для друга).

Трубецкой много занимался изучением промежуточного географического положения прото-славянских диалектов по отношению к другим индоевропейским диалектам: они занимали «серединную позицию» между диалектами прото-иранскими, на востоке, и западно-индоевропейскими (прото-германский, прото-италийский, прото-кельтский), на западе (Трубецкой, [1921], 1995). Подобно Гильфердингу, Трубецкой считал, что славянские языки менее близки к языкам западным, чем к восточным, однако среди этих последних он говорил уже не о санскрите, но, прежде всего, о прото-иранском. Так, ученый находил лексические сходжения славянских языков с прото-иранским в религиозной терминологии; в то же время, лексические сходства между славянскими языками и индоевропейскими языками Запада существовали лишь в пластах лексики, связанных с технической и экономической деятельностью (там же, с. 131).

«...Душой славяне тянули к индоиранцам, «телом», в силу географических и материально-бытовых условий, — к западным индоевропейцам» (там же, с. 131).

В отличие от своих предшественников, Трубецкой, не колеблясь, разделяет надвое сам славянский мир, оперируя при этом географическими и культурологическими критериями:

«Культурная физиономия славянства, таким образом, была предрешена с самого начала, еще тогда, когда предки славян являлись лишь частью общей массы индоевропейцев и говорили еще на диалекте общеиндоевропейского праязыка. Уже тогда срединное положение этих племен вызывало в них тенденции к связи то с востоком, то с западом, то с югом. Позднее эти тенденции дифференцировались в связи с дифференциацией самого славянства, и в результате каждая из ветвей славянства сохранила за собой одну из этих тенденций» (там же, с. 131–132).

Итак, именно положение западных славян на Западе и определило их близость и «присоединение» к романо-германскому миру, с преобладающими в нем материалистическими и индивидуалистическими принципами. Восточные же славяне, напротив, *«органически ассимилировали»* византийскую модель в своей духовной культуре, искусстве и религиозной жизни, тогда как *«все получаемое с Запада — органически не усваивалось, не вдохновляло национального творчества»* (там же, с. 133).

«Восточные славяне являлись верными потомками своих доисторических предков — тех носителей праславянского диалекта индоевропейского праязыка, которые, как показывает изучение словаря, не чувствовали духовной близости к западным индоевропейцам и в духовном отношении ориентировались на Восток. У западных славян эта психическая особенность была подавлена благодаря долгому непосредственному общению с германцами, у восточных же она усугубилась отчасти, может быть, благодаря антропологическому смешению с угрофиннами и тюрками» (там же, с. 133).

Таким образом, разделенный на две части славянский мир утрачивает свое единство: в отличие от мелодий западных славян, для русской народной песни характерны «пятитонная», или «индокитайская» гамма (там же, с. 135) и отсутствие трехтактного темпа; русский танец танцуется не в паре, но в группе, стиль русских народных сказок *«не встречает параллелей ни у романогерманцев, ни у славян, но зато имеет аналогии у тюрков и кавказцев»* (там же, с. 137). Кроме того, *«русский национальный характер... решительно непохож... на национальный характер других славян»* (там же, с. 138).

Наконец, в теории евразийского языкового союза (Sprachbund) Якобсона впервые — по сравнению с работами всех его предшественников — появляется *геометрическое видение мира*: Европа и Азия (определяемые ученым на лингвистических основаниях) оказываются здесь периферией огромного континента, в центре которого находится Россия. В работе 1931 года «К характеристике евразийского языкового союза» Якобсон говорит о симметрии в пространственном расположении Азии, Европы и Евразии, о «центральной» природе евразийских языков и «периферической» — языков азиатских и западноевропейских. По-

следние определяются им либо только «отрицательными» признаками (отсутствие корреляции по твердости/мягкости и политонии), либо только «положительными» (наличие одновременно политонии и твердости/мягкости). В то же время, общими для евразийских языков оказываются один «положительный» признак (корреляция по твердости/мягкости) и один «отрицательный» (отсутствие политонии). В теории Якобсона и западнославянские, и южнославянские языки (за исключением восточно-болгарских диалектов) включаются не в евразийский языковой союз, а в совершенно иной мир — Европу.

И хотя Трубецкой не делает различий, говоря о народе и его языке (у каждого народа — свой «национальный характер», см. Трубецкой 1925), новым в его концепции можно считать то, что языки не определяются больше в терминах генетического родства, через дивергенцию, последовательные расхождения (образ генеалогического древа), но, напротив, в терминах конвергенции (или приобретенных сходств).

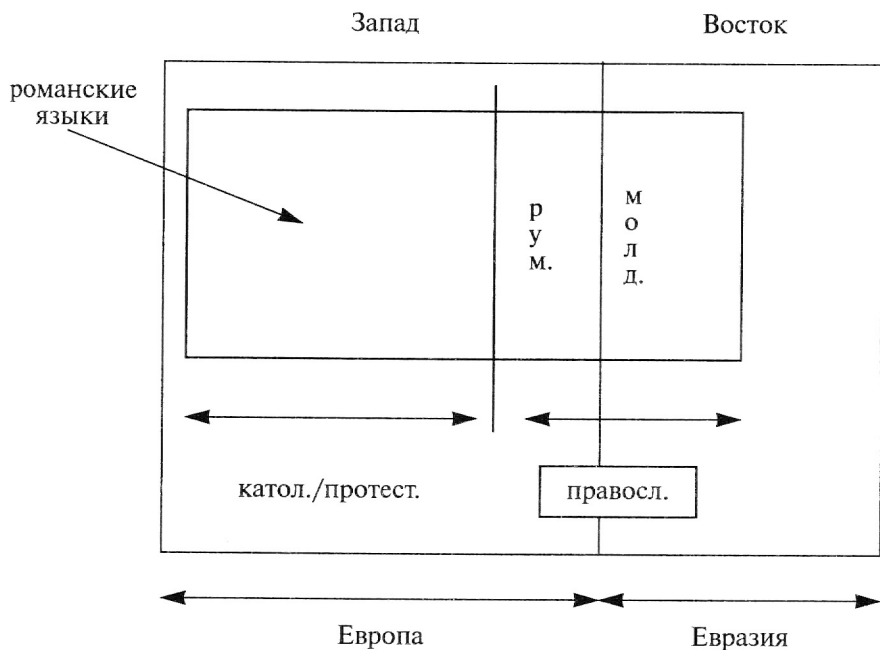
Если в принципе в теоретических построениях Якобсона и Трубецкого Евразия противопоставляется Азии и Европе (ср. концепцию Ламанского), фактически существенным здесь становится разделение не на три, но на две части: на первый план снова выдвигается оппозиция «восток/запад», где Европа совпадает с западом, а Евразия — с востоком. Славянский мир оказывается разделенным на две части, а положение России в евразийской концепции еще больше «смещается» на восток, по сравнению с предшествующими теориями.



Отныне, начиная с текстов евразийцев, можно говорить о разбиении генетической семьи на две части, когда разделяющая их граница объединяет целостности, подходящие друг на друга благодаря *естественной конвергенции* — а потому эта граница может считаться более «истинной», границей высшего порядка, по

сравнению с прочими. Даже религию нельзя считать теперь достаточным критерием: с одной стороны, в Европе живут православные (румыны и греки), а с другой, сами языки православных народов могут быть «разделены надвое» — так, восточные диалекты румынского, в которых присутствует корреляция по твердости/мягкости, являются частью евразийского языкового союза:

«Ни в одном романском языке не представлен феномен мягкости, кроме молдавского, восточного представителя романской группы» (Якобсон, 1931а, с. 373).

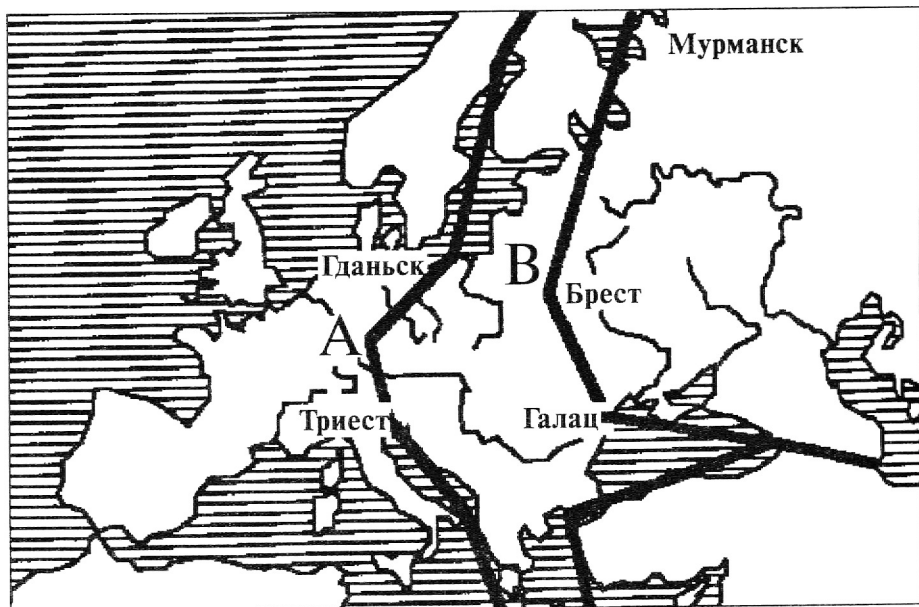


Здесь также можно говорить о совпадении «миров» и языков — правда, последние группируются теперь не по принадлежности к той или иной генетической семье, но по приобретенным ими сходствам. Это приводит к дезинтеграции славянского единства.

Сопоставим теперь эти разные представления о границе, являющиеся основой основ в дискурсе о самобытности России и русской культуры, — линии, разделяющей разные миры, «свое» и «чужое». Текст Гильфердинга картографии не поддается, зато в трудах Ламанского и евразийцев (речь идет, в первую очередь, о текстах П. Н. Савицкого и Р. Якобсона, 1931) даны очень четкие географические описания, что позволяет представить их на карте.

Линия А — панславистская граница (Гданьск—Триест), определяемая в работе Ламанского; линия В — евразийская граница (Мурманск—Брест—Галац), представляемая текстами Якобсона, Трубецкого и Савицкого.

Как можно видеть, первая включает все славянские народы (в том числе, и западных славян-католиков) в «Средний Мир», тогда как вторая, проходящая рядом с линией Керзона недалеко от Бреста Литовского, исключает из Евразии как западных, так и южных славян.



VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При сравнении трех представленных выше теоретических концепций можно заметить, что положение России в них последовательно смещается с запада на восток: сначала она отделяется от Западной Европы, затем — от славянского мира. Изучение данной проблемы можно было бы дополнить и анализом некоторых исследований, написанных в конце второй мировой войны и представляющих собой очевидный поворот к панславизму. Показательный пример в этом отношении — книга В. В. Виноградова «Великий русский язык» (1945), которая фактически возвращается к концепциям Ламанского, дополняя их некоторыми данными, соответствующими требованиям эпохи.

Это «перемещение» России на восток есть нечто гораздо большее, чем простое географическое «смещение». Речь идет о натуралистическом видении культуры. Пытаясь установить связи между языками и культурой, самобытностью народов, авторы представленных концепций считали, что «свое» и «чужое» не определяются ими самими, но существуют изначально. Именно в признании этой изначальности, онтологической первичности их существования и состоял натурализм данного эпистемологического подхода. Забывая о том, что речь шла о моделях, конструкциях воображаемых, все наши авто-

ры стремились лишь к открытиям «естественных» данностей, к «правильному» прочтению их в Великой Книге Природы. Как будто достаточно было лишь однажды открыть глаза — для того, чтобы увидеть...

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ «Умом Россию понять можно» — аллюзия на известное тютчевское четверостишие:

Умом Россию не понять,
аршином общим не измерить,
у ней особенная статья,
в Россию можно только верить...

² Автор употребляет слово «дискурс» в том же значении, что и некоторые французские философы семидесятих годов двадцатого столетия (например, М. Фуко). К примеру, под «дискурсом о языке» понимается вся совокупность текстов (как письменных, так и устных), авторы которых рассуждают о языке — или в которых вообще встречается слово «язык»; под «дискурсом о самобытности России» — все множество рассуждений, связанных с этим вопросом, и т. д.; см. также прим. 3 (прим. перев.).

³ «Дискурс о языке» — понятие более широкое, чем собственно лингвистика как научная дисциплина, объект исследований которой определяется и ограничивается специалистами в университетах и Академии наук. Речь здесь пойдет о множестве самых разнообразных и разнородных текстов, которые может объединять лишь одно: во всех из них встречается слово «язык». Так, тексты законов и постановлений, затрагивающих языковую политику, поэтические манифесты, фантазии и утопии об «универсальном» языке, введения в пособия по грамматике, авторы которых говорят о красоте и «превосходствах» изучаемого языка, беллетристические тексты, повествующие об особенностях языка тех или иных персонажей или о невозможности передачи определенных смыслов на каком-то языке — все это неотъемлемые части данного корпуса текстов: границы же его представляются довольно размытыми. В России «дискурс о языке» оказывается необычайно чувствителен к тем постоянным сомнениям, которые возникают в обществе по поводу проблемы самоотождествления нации — как, впрочем, и к тому напряжению, которое последние провоцируют. Настоящая работа вписывается в более широкий контекст исследований, связанных с дискурсом о языке и находящихся в нем отражения основных течений и направлений русской культуры.

⁴ Так, он известен как фольклорист, собравший огромное количество былин на севере России: см. Гильфердинг, 1873.

⁵ В работах, посвященных лингвистическим трудам Гильфердинга, содержание последних часто оспаривается (см. статьи в Большой советской энциклопедии, издания 1929, 1952 и 1971 гг., а также Бернштейн, 1979). Между тем, вопрос о самобытности русской культуры разрешается в его работах на базе лингвистических аргументов — и в этом отношении исследования Гильфердинга представляют большой интерес для нашей работы, связанной с «дискурсом о языке».

Необходимо отметить, что это «очарование востоком» не было свойственно лишь «русской мысли». О нем свидетельствуют и труды, написанные в ту же эпоху в других странах Европы — см., напр., работу Причарда (Prichard, 1831) о «восточном» происхождении кельтского языка.

⁶ Это замечание Гильфердинга о немецких ученых представляется тем более любопытным, что в нем повторяются едва ли не те же выражения, в которых немцы (например, Шеллинг) упрекали французов эпохи Просвещения в том, что те не отрываются от де-

талей («аналитический», «механический» тип мышления) и не стремятся увидеть целого («синтетический», «органический» тип мышления).

⁷ Это разделение на восток и запад кажется нам в гораздо большей степени типологическим, даже онтологическим, чем географическим: так, персидский язык отнесен Гильфердингом к западной группе, тогда как литовский — к восточной.

⁸ Язык священных текстов древних персов («Авеста»), авестийский принадлежит к иранской семье. Доказательство родства авестийского языка и санскрита было одним из величайших достижений сравнительной грамматики в начале 19-го века.

⁹ Об оппозиции конвергенция/дивергенция у Трубецкого см. Sériot, 1994, p. 98 sqq.

¹⁰ О славянофильской лингвистике см. Колесов, 1984; Гаспаров, 1995.

¹¹ Гильфердинг умер от тифа в возрасте 41 года, во время своей второй экспедиции на север России.

¹² См. Suess, 1885. Об истории и развитии в России концепций отношений и связей между Европой и Азией см. Bassin, 1991.

¹³ Географ-евразиец П. Н. Савицкий будет говорить о «срединном мире», «срединном материке» (Савицкий, 1923). Кроме того, в его работе, опубликованной на немецком языке, упоминаются «Reich der Mitte», «Mittelreich», «die zentrale Welt des alten Kontinentes» (Savitzkij, 1934).

¹⁴ См. также Данилевский, 1871.

¹⁵ Напомним, что «евразийством» называют идеологическое и политическое движение русской эмиграции в 1920–1930-е годы. Начало ему положили в Софии в 1921 году четверо русских эмигрантов: лингвист Н. С. Трубецкой, географ П. Н. Савицкий, искусствовед П. П. Сувчинский и телеолог Г. В. Флоровский. Основная идея евразийской идеологии состояла в следующем: Российская Империя, ставшая затем Советским Союзом, представляла собой некую естественную, органическую целостность — и не Европу, и не Азию, но отдельный континент, отдельный «мир», выделяемый на основе целого множества критериев (этнических, экономических, антропологических, гуманитарных, географических, культурных, лингвистических и т. д.). О евразийстве и евразийской идеологии см. Böss, 1961, Sériot, 1993, 1996a, 1997.

¹⁶ О понятии «сходства» (affinité) между языками и культурами в дискуссиях и теоретических построениях евразийцев см. Sériot, P. «De linguarum affinitatibus» (Sériot 1998).

ЛИТЕРАТУРА

Аксаков, К. С. (1855): *О русских глаголах*. Москва.

Бернштейн, С. Б. (1979): *Славяноведение в дореволюционной России (Библиографический словарь)*, Москва: Наука.

Виноградов, В. В. (1945): *Великий русский язык*, Москва: Гослитиздат.

Данилевский, Н. Я. (1871): *Россия и Европа*. Санкт-Петербург.

Гильфердинг, А. Ф. (1853): *Об отношении языка славянского к языкам родственным*. Москва: В университетской типографии, 130 с.

Гильфердинг, А. Ф. (1873): *Онежские былины*. Москва.

Егоров, Б. Ф. (1994): *О национализме и панславизме славянофилов / Славянофильство и современность*, Санкт-Петербург: Наука, с. 23–32.

- Колесов, В. В. (1984): *Становление идеи развития в русском языкознании первой половины XIX в.* / Понимание историзма и развития в языкознании первой половины XIX в., Москва: Наука, с. 7–15.
- Ламанский, В. И. (1864): «Национальности итальянская и славянская в политическом и литературном отношениях», *Отечественные записки*, 12.
- Ламанский, В. И. (1892): *Три мира азийско-европейского материка*, Санкт-Петербург: Траншель, 132 с.
- Некрасов, Ник. Петр. (1865): *О значении форм русского глагола*, Санкт-Петербург.
- Савицкий, П. Н. (1923): «Евразийство», Архивы ЦГАОР (Москва), Фонд П. Н. Савицкого 5783, 1, 29, цитировано по: *Евразийство. Исторические взгляды русских эмигрантов*. Москва, 1992.
- Трубецкой, Н. С. (1925): «О туранском элементе в русской культуре», *Евразийский временник*, 4, Берлин, с. 351–377.
- Трубецкой, Н. С. (1995): *История. Культура. Язык*. Москва: Прогресс.
- Якобсон, Р. О. (1931): *К характеристике евразийского языкового союза*. Париж: Издание евразийцев, 59 с.
- Bassin, Marc (1991): «Russia Between Europe and Asia: the Ideological Construction of Geographical Space», *Slavic Review*, 1, p. 1–17.
- Böss, O. (1961): *Die Lehre der Eurasier. Ein Beitrag zur russischen Ideengeschichte des 20. Jahrhunderts*, Wiesbaden: Harrassowitz.
- Dumont, Louis (1983): *Essais sur l'individualisme*, Paris: Seuil.
- Gasparov, Boris (1995): «La linguistique slavophile», *Histoire-Epistémologie-Langage* (Paris), 17, fasc. 2, p. 125–145.
- Jakobson, R. O. (1931a): «Les unions phonologiques de langues», *Le monde slave* (Paris), 1, p. 371–378.
- Prichard, J.-C. (1831): *The Eastern Origin of the Celtic Nations Proved by a Comparison of their Dialects with the Sanskrit, Greek, Latin and Teutonic Languages*, London: Sherwood, Gilbert & Piper.
- Savitzkij, P. (1934): «Die geographischen und geopolitischen Grundlagen des Eurasiertums» / *Orient und Occident*, 17. Heft, (Leipzig), numéro spécial: Die Eurasische Frage, p. 13–19.
- Sériot, P. (1993): «La double vie de Troubetzkoy, ou la clôture des systèmes», *Le Gré des Langues*, № 5, p. 88–115.
- Sériot, P. (1994): «Aux sources du structuralisme: une controverse biologique en Russie», *Etudes de Lettres (Lausanne) — Les sciences du langage, enjeux et perspectives* (P. Sériot éd.), p. 89–103.
- Sériot, P. (1996) (éditeur): N. S. Troubetzkoy, *L'Europe et l'humanité*, Liège: Mardaga.
- Sériot, P. (1996a): «Troubetzkoy, linguiste ou historiosophe des totalités organiques?» / Sériot, 1996, p. 5–35.
- Sériot, P. (1997): «Des éléments systémiques qui sautent les barrières des systèmes» / *Jakobson entre l'Est et l'Ouest*, 1915–1939 (Cahiers de l'I.L.S.L., 9), Lausanne, p. 213–236.
- Sériot, P. (1998): «De linguarum affinitatibus», *Cahiers de l'ILSL*, № 11, 1998, Lausanne, p. 327–348.
- Suess, Ed. (1885–1909): *Das Antlitz der Erde*, 4 vol., Wien, Leipzig.
- Troubetzkoy, N. S. (1986, 1ère éd. 1949): *Principes de phonologie*, Paris: Klincksieck, traduit par J. Cantinean (édition originale: Grundzüge der Phonologie, TCLP, VII 1939).